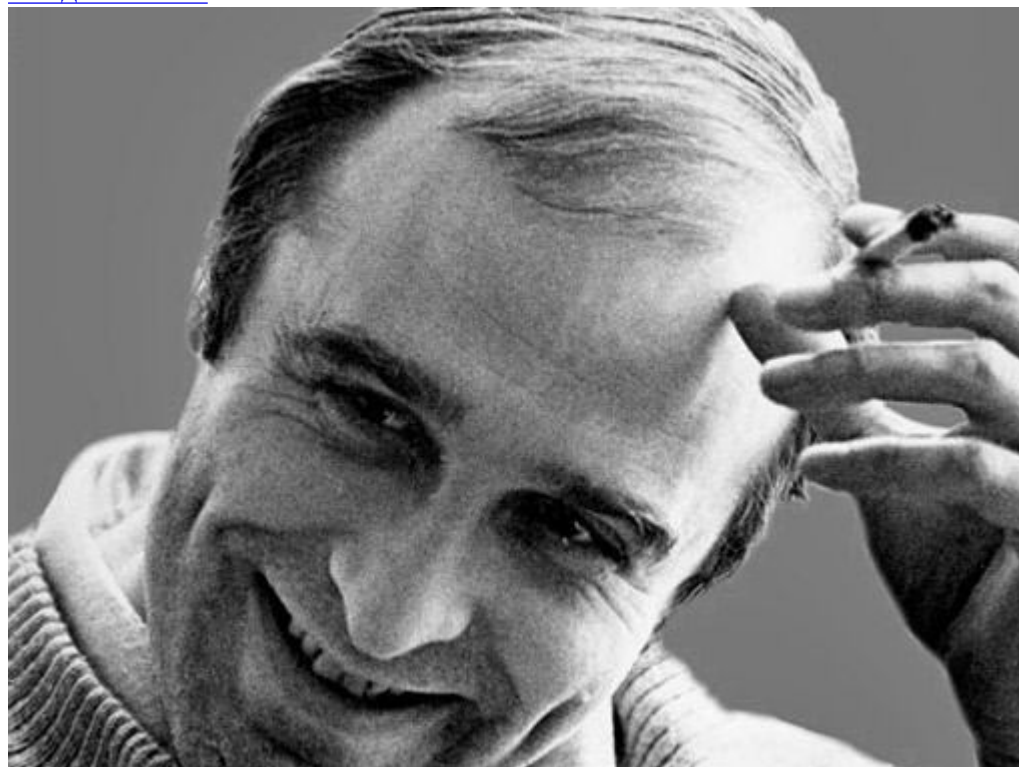


[Владимир Кантор](#)

Герой «случайного семейства» (о жизни и прозе Владимира Кормера)

Мемуарные зарисовки философа Владимира Кантора на «Гефтере» — новый цикл

[Свидетельства](#) 21.11.2014 //  146



В романе «Подросток» Достоевский назвал себя художником «случайного семейства», в котором отсутствуют «родовое предание и красивые законченные формы». Зато, полагал писатель, они есть в устоявшемся культурном слое «средневысшего» дворянства — именно о нем и думал Пушкин, замысливая свои «преданья русского семейства». Первый роман Владимира Кормера (29.01.1939–23.11.1986) называется «Предания случайного семейства» (1970). Итак, в первом же своем романе он смело сопрягает две темы, два символа русской культуры, давая две скрытые цитаты — пушкинские «предания» (это как о чем-то устоявшемся) и достоевское «случайное семейство». Сразу — этим заглавием — он вводит свое творчество в контекст русской классики. И тем самым показывает, на каком поле собирается играть.

Достоевский задавал тревожный вопрос: «не будет ли справедливее вывод, что уже множество таких, несомненно родовых, семейств русских с неудержимой силой переходят массами в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе?». **После революции случайным семейством стала вся Россия.** Кормер берет на себя смелость назвать себя писателем, изображающим броуновское движение России, превратившейся в «случайное семейство». Ибо **предания** — это о прошлом, которое длится и сегодня. Его герои, как и герои Достоевского, — люди из интеллигентного слоя. Из них самые близкие автору еще помнят о необходимости чести, достоинства, порядочности. Но в принципе произошла великая смесь, «смазь», о которой писал Достоевский. Подлинная интеллигенция была изгнана, расстреляна, посажена в лагеря, выжившая — люмпенизирована. В «Преданиях» герой рассуждает: «Николаю Владимировичу вдруг стало особенно жаль, что все здесь перед ним утратило свою чистую определенность: и крестьяне пред ним были не крестьяне, и сказки, что они рассказывали, были не сказки, и сам он, — в конце-то концов! — в каком качестве сидел между ними?! <...> Он лишь усмехнулся тому, насколько прежде все-таки было все четче: барин был баринем, мужик —

не сказки, и сам он, — в конце-то концов! — в каком качестве сидел между ними?! <...> Он лишь усмехнулся тому, насколько прежде все-таки было все четче: барин был баринем, мужик — мужиком, и интеллигент — интеллигентом, не то, что нынче, когда он и сам не понимал, кто он таков, и никто за столом не понимал этого. “Скорее всего, я здесь просто чужак, сказал он себе, — несмотря на то что рос, как и они, среди полотняных ширмочек и ситцевых занавесочек, и жена моя, как и они, кухарка. В этот демократический век не осталось больше ни черной, ни белой кости, остались только чужие и свои”». И еще одну фразу Николая Владимировича, деда героя-подростка, о котором роман, я должен привести: «Стремления моей юности были соблазном. Я был глуп, суетен, я не знал, как следует, что такое сострадание, — сама жизнь научила меня всему. А если дел моих и не увидало человечество, то ведь и не для себя я живу. Вероятно, бывают эпохи, когда люди должны лишь молча страдать, а всякое творчество есть лишь ложь и самообольщение...»

Но все же остались **герои**, которые взяли на себя ношу русской культуры, пытаясь удержать уровень русской духовности. Несмотря ни на что!

У поэта Наума Коржавина есть замечательные строчки, написанные в 1952 году и полностью относящиеся к таким людям **ноши**, в том числе и к Володе:

*Ни к чему,
 ни к чему,
 ни к чему полуночные бденья
 И мечты, что проснешься
 в каком-нибудь веке другом.
 Время?
 Время дано.
 Это не подлежит обсуждению.
 Подлежишь обсуждению ты,
 разместившийся в нем.
 Ты не верь,
 что грядущее вскрикнет,
 всплеснувши руками:
 «Вон какой тогда жил,
 да, бедняга, от века зачах».
 Нету легких времен.
 И в людскую врезается память
 Только тот,
 кто пронес эту тяжесть
 на смертных плечах.*

Вот эту тяжесть Володя Кормер и пытался нести. И нес. Как-то в разговоре со мной Игорь Виноградов сказал, что ему как тогдашнему заведомо прозы «Нового мира» понравились сразу кормеровские «Предания». Но что они были «из другого ящика». Из какого — не пояснил. Смысл был тот, что **непроходные**. Но почему? И хотя «антисоветчины» в тогдашнем даже понимании в этом тексте не было, «Предания» так и не были напечатаны. Это был роман о становлении подростка в послевоенное время, о взрослении не физическом, а метафизическом, отнюдь не политическом. Уже после смерти Володи его главный роман «Наследство» опубликовал журнал «Октябрь» (1990) и тут же перепечатал «Советский писатель» (1991). А в предисловии к отдельному изданию романа Виноградов написал, что, получив в свой отдел прозы «Предания случайного семейства», он понял: «Повесть уже тогда обещала в В. Кормере возможность будущей крупной писательской судьбы» [1]. Мне многое непонятно в этом пассаже — а главное, тон вершителя «писательских судеб». Очевидно, пьеса «Горе от ума» тоже кое-что обещала в судьбе ее автора. Вероятно, возможность стать крупным писателем. Повторяю: первая же вещь Кормера — уже явление настоящей прозы, написал бы он что-нибудь потом или нет. А любой подлинности надо радоваться, как подарку. Но трудно было поверить, трудно было осознать, что среди очень талантливых советских писателей (пишу слово «талантливых» серьезно) появился реальный продолжатель наследия русской классической литературы. Продолжатель, показавший, что

талантливых советских писателей (пишу слово «талантливых» серьезно) появился реальный продолжатель наследия русской классической литературы. Продолжатель, показавший, что наследство это — не музейный экспонат, оно вполне живет и работает. Сразу хочу сказать, что бытовизма как такового в этом тексте не было. Писатель сразу ставит проблему теодицеи — а можно ли оправдать Бога за происшедшее с Россией. Спор дочери, матери героя, с отцом — дедом героя: «Нет. — В ее голосе прозвучали решительность и еще что-то, чего Николай Владимирович сначала не понял и лишь мгновение спустя разобрал: презрение. — Нет, я не верю! — продолжала она. — Потому, что если б Он был, то должен был бы осуществлять одну функцию — справедливость. А что делает Он? За что Он наказывает тебя или меня? Конечно, ни ты, ни я — не совершенства. Пусть. Но ведь есть же и большие, чем мы, грешники, мы не пользуемся властью, не ворует, не угнетаем своих ближних, не убиваем, и ты и я, мы знаем массу людей, о которых заведомо безо всякой ложной скромности можно сказать, что они хуже нас». Получалось, что Россия как случайное семейство была в Высших замыслах. Это было трудно переварить. Нужно обладать для этого мужеством зрения и мысли.

* * *

Что же Кормер представлял собой, как сегодня говорят, «по жизни»? Он и сам происходил из «случайного семейства». Родился в семье ссыльнопоселенца в Красноярском крае — в селе Решеты Нижне-Ингашского района. Рано осиротел. После смерти отца мать с сыном вернулись в разоренную войной Москву. Детали его собственной жизни так и сквозят в этом тексте. Все мы знали, что в детстве Володя попал в железнодорожное крушение, от которого остался шрам на губе, придававший ему немного сардоническое выражение. А это отзвучало и в «Преданиях». Возвращаясь из ссылки, мать и сын ехали, разумеется, поездом: «В прошлом году они попали в железнодорожное крушение. <...> У самой Анны была ушиблена нога, у Николая довольно глубоко рассечена скула, но все же исход был, конечно же, именно счастливым». Потом были чудовищные московские переполненные квартиры. Поэтому он так хорошо знал и описывал московский коммунальный быт. Всю свою жизнь Володя опирался только на себя. **«Предания» — ключевой роман, где, как водится у начинающего большого писателя, намечена главная тема его творчества.** И ее смысл — отсутствие устоявшихся норм человеческого общежития. Замечу, что ни в одном его следующем романе нет темы живого, реального отцовства. Героем преданий был дед Николай Владимирович, который оказался для подростка связью с прошлой Россией и ее ценностями. Кормер делал себя сам без помощи сильной отцовской руки, в которой так нуждаются все дети. Но такой безотцовщиной было пол-России в те годы (да и почти всегда), все семьи в этом смысле были случайными. Многие ломались, он стал сильным. Сильным духовно. Его творчество по-прежнему было **из другого ящика**. Впрочем, давно сказано о камне, отброшенном строителями...

Он вырос труднее. Трудно, потому что чувствовал себя чужаком в случайном семействе России. В «Преданиях» он скажет: «Окрестные дворы и дома были наполнены этими бесконечными Витюлями, Вовулями, Лесиками, Колюнями и Шураями, еще некоторое время назад сопливыми, замурзанными, подающими надежды способными детьми, которые, внезапно и прежде срока развившись в городе, заматерели, и плебейство их, такое забавное раньше, вдруг повылезло из всех щелей в каждом их слове и жесте и сделалось непереносимым. В силу ли более глубокой уже внутренней несовместимости, природы которой он не понимал, но он чувствовал себя чужим им всем, хотя поспешно кивал, что знает, что знаком с ними, хотя здоровался и разговаривал с ними, а они, в свою очередь, смотрели на него с удивлением, ощущая тоже это неродство и тоже не вполне постигая его причины».

Тогда было выражение: «Он **пишет**». Это означало, что пишет свое, неподцензурное, тайное. Я познакомился с Володей и подружился, когда он писал «Наследство». Он боялся за рукопись. Сделанные под копирку экземпляры раздавал друзьям — на хранение. Одним из этих друзей — не без гордости могу сказать — был я. А Володя гордился, что его роман печатала та же машинистка, что печатала тексты Солженицына. Это был как бы шаг к художественной власти над миром. Он был уверен в своей грядущей известности. Помню, как в коридоре Института философии, где существовала тогда редакция «Вопросов философии», он топнул ногой и как бы шутливо сказал: «Мемориальную доску здесь!» Опасаться-то он опасался, но тем не менее давал читать рукопись людям, которым доверял, чьим мнением дорожил. Помню, когда в редакции он отмечал рождение

существовала тогда редакция «Вопросов философии», он топнул ногой и как бы шуливо сказал. «Мемориальную доску здесь!» Опасаться-то он опасался, но тем не менее давал читать рукопись людям, которым доверял, чьим мнением дорожил. Помню, когда в редакции он отмечал рождение сына, вдруг Мераб Мамардашвили, поздравляя Володю, бросил фразу: «Теперь пора позаботиться о наследстве».

* * *

Через полтора года после его смерти 10 мая 1988 года в Центральном доме медицинских работников на улице Герцена «состоялся вечер памяти писателя и философа Владимира Кормера», как написано было спустя две недели в «Русской мысли», где был опубликован краткий стенографический отчет об этом вечере. Думаю, тусовка эта состоялась не случайно. Уже был десять лет назад опубликован на Западе роман Кормера «Крот истории», появилась надежда на публикацию его текстов на Родине. Вечер вел Виктор Ерофеев. Выступили литераторы, приятельствовавшие с Кормером. Первым, разумеется, выступил ведущий, следующим — поэт Юрий Кублановский (издавший в «Посеве» сокращенный вариант «Наследства»), затем Александр Величанский (очень много сделавший для публикации в России полного текста главного романа Володи), Дмитрий Пригов, мой отец — философ Карл Кантор, Анатолий Найман, Игорь Виноградов, Владимир Кейдан. Стенограмма хранит аромат подлинности тех лет. Несколько строчек из этого отчета, где говорится о пушкинско-моцартовском начале в жизнеповедении и творчестве Володе Кормера, мне хотелось бы привести.

«Об особом **“феномене В. Кормера”** говорил его близкий друг, философ и прозаик В. Кантор. В последние годы жизни Кормер часто вспоминал “Моцарта и Сальери”, особенно “праздного гуляку” Моцарта. Ведь в каком-то смысле самого Кормера можно было назвать “гулякой праздным”. Как же удивлялось начальство, когда вышел “Крот истории”! Когда же он успел это написать? Вроде пил, пил, был вполне советский человек, вроде совсем свой был.

Но это была не маска. Это было странное чувство свободы, поразительное, редкое, с внутренним мужеством. И эта свобода проявлялась во всем.

Последний роман В. Кормера — “Почва”. Работая над ним, он перечитал **“всех наших деревенщиков”**. И понял, что **“это этнография”** и что **“они не видят дальше того, что происходит”**.

Ежедневный и достаточно кропотливый труд “гуляки праздного” был не виден даже иногда и его приятелям. А он писал в год по роману, ходил на службу в редакцию, на полный рабочий день, где приходилось заниматься не только редактурой, но и утомительной писаниной. В. Кантор рассказал, что последние годы Кормера, после публикации на Западе “Крота” и ухода из редакции (чтобы не “подставить друзей”) были особенно тяжелыми, потому что ему порой приходилось писать под чужим именем и не совсем то, что хотел, стать “литературным негром” — надо было зарабатывать на жизнь для семьи.

“Чувство свободы — основное, что есть у художника, и Кормер из этой породы”, — закончил свое слово о покойном друге В. Кантор» [2].

Вечер показал, что о Кормере помнит хотя бы узкий круг. Казалось, начнутся российские публикации — и придет слава. Но опубликован в России был только один роман. В 1990 году в журнале «Нева» вышел мой роман «Крокодил», посвященный памяти В.Ф. Кормера. В том же году поэт Саша Величанский пробил в «Октябре» роман «Наследство». Мы встретились на четвертых поминках по Кормеру и пили весь вечер за то, что, кажется, лед тронулся, и Володино имя становится литературным фактом. Но Кормера все равно не хотели больше замечать наши журналы. Словно наступавший по всему миру и в стране постмодерн заколдовал попытки продолжения русской классики.

* * *

В нем была видна **порода**, не в ницшевском смысле, а скорее в чеховском: чувствовалась незаурядность личности, ум в глазах, слегка саркастическая усмешка, безупречная точность

В нем была видна **порода**, не в ницшевском смысле, а скорее в чеховском: чувствовалась незаурядность личности, ум в глазах, слегка саркастическая усмешка, безупречная точность суждений, слегка провокативный поворот мысли, чтобы разъяснить себе собеседника... К тому же высок, статен, мужественно красив, красив так, что женщины оборачивались на него. Он окончил МИФИ, работал в социологическом центре Ю. Левады, потом в 1968 году И.Т. Фролов взял его, беспартийного, на работу в журнал «Вопросы философии», где Володя вел до 1979 года отдел «зарубежной философии». А значит, как читатель может понять, знал языки и тексты. Как шутил наш сотрудник (А.Я. Шаров), «Кормеру повезло. Он занимается хоть зарубежной, но философией. Зато остальные разделы нашего журнала вполне можно озаглавить “за рубежом философии”». Биография Кормера непредставима без журнала, а история нашей редакции — без ее «неформального лидера». Именно его отдел был напрямую связан с живым движением «закордонной» мысли и мог информировать отечественного читателя о процессах, там протекавших, а также публиковать наиболее острые статьи отечественных ученых, зачастую решавших российские проблемы сквозь критику западноевропейских концепций. С 1979-го, получив парижскую премию имени Владимира Даля за свой роман «Крот истории, или Революция в республике S=F», он уволился (об этом рассказ впереди), однако продолжал, **почти подпольно**, посещать редакцию, справедливо считая оставшихся в журнале коллег своими друзьями. Он серьезно относился к людям.

Дело было еще в его старомодном делении людей на неприличных и приличных, «из хорошего дома». Он отнюдь не был снобом, но очень хорошо знал цену подлинности. Опять же, стоит привести слова героя «Преданий»: «Видит Бог, что если я и жалел когда-то, что не родился дворянином или вообще в какой-нибудь хорошей старой семье, то это не потому, что я кичлив и хотел бы еще кичиться своими предками, но потому лишь только, что хотел бы иметь возле себя человека с традициями, с достоинством. Такого, который бы незаметно, с детства, научил бы меня правильному взгляду на мир, сказал бы: это должно, этому следуй, а это презирай, не пристало тебе радоваться такому вздору... Вот примерно и все, ведь тут и не надо многого».

Володя и журнал-то ценил за то, что там был своего рода оазис свободомыслия, создаваемый работающими там людьми. Как я уже писал, он был бесспорным лидером редакции, а со своим невероятно красивым лицом и статной фигурой (все же несколько кровей в нем намешано) был всегдашним любимцем женщин самых разных слоев: от советских-светских аристократок, иностранных красавиц-миллионерш до золушек и простушек. Но лидером особого рода. Он никуда не призывал, не создавал партий и кружков, но создавал вокруг атмосферу свободы и раскрепощенности. О своем автобиографическом герое в «Преданиях» он сказал точно: «Он не хочет вовсе быть первым, “но и признать за кем-то еще это первенство над собой я не хочу”, — говорил он. Это была сущая правда, подтвердившаяся потом всю его судьбой, и даже роковая в ней: что-то всегда мешало ему быть первым, первенство требовало каких-то издержек, на которые он не был согласен, но и принять над собой чью-то власть не мог».

Вообще, десятилетие, которое считается **пропущенным**, не состоявшимся духовно (вторая половина 70-х и начало 80-х), вовсе не было таковым. Просто оно было скрытым, не явленным публично, не обнародованным. Но пел великий бард Владимир Высоцкий, его голос в самодельных записях — без преувеличения — звучал по всей стране. По рукам ходили машинописные копии потаенных рукописей, тамиздатовские и самиздатовские книги. Уже гремели на весь мир «Иван Денисович» и «Гулаг». Писались в стол романы. Далеко не последним среди творцов, хранивших традицию свободного духа, был Владимир Федорович Кормер. Этот период для многих из нас стал одним из самых значительных и значимых. Добавлю к этому, что мы переживали время окончательного расставания с вызывавшим уже брезгливость и очевидное неприятие оголтелым фанатизмом любого толка — будь то фанатизм партийно-государственный или диссидентский. У меня в архиве остались посвященные мне стихи, по мысли (да и по подписи: вроде его) они похожи на постоянный Володин саркастический взгляд на мешанину «случайного семейства» России.

*О, гений, парадоксов друг!
Парадоксально все вокруг.
Сколь гениально наше время!*

*гипероксильно все вокруг.
Сколь гениально наше время!
И ставший нормою обман,
И западники из славян,
И почвенники из евреев.*

Поскольку точной атрибуции стихотворения дать не могу, назовем его, как делают искусствоведы: «из круга Кормера».

* * *

Тоталитарные режимы играют в вечность. Тысячелетний нацистский Рейх, или бесклассовое общество осуществленной коммунистической мечты человечества, или просто великая держава, сравнимая с Древним Египтом... Вечность смотрит на нас с этих тоталитарных пирамид. Жизнь вне времени, жизнь режима навсегда. И самое грустное, что жители этих государств-левиафанов, необъявленные рабы режимов, были тоже убеждены в несокрушимости строя, убеждены, что проглочены крокодилом навсегда. По словам одного из русских мыслителей эпохи Николая I, он был уверен, что император переживет и их поколение, и детей их, и даже внуков. Примерно такое же чувство испытывали в конце 70-х и мы. Многие эмигрировали в поисках цивилизованного пространства, где существуют утро, день и вечер, а не длится бесконечно минута «глубокого удовлетворения» существующим порядком вещей.

И как нельзя кстати звучали постоянно слова Володи Кормера в ответ на вопрос, почему он, **писатель и инакомысл**, не уезжает на Запад: **«Хочу посмотреть, чем все это закончится»**. Я думаю, многие воспринимали это как некую ерническую фразу. А он по внутреннему своему пафосу, по профессии и образованию был наблюдатель и естествоиспытатель. Не случайно окончил МИФИ, работал математиком, социологом, что без сомнения помогало ему преодолевать всякого рода идеологические наваждения. Как человек строгого знания он считал, что всякое явление имеет начало и конец, что **оно не может длиться всегда**. Конфигурации истории изменятся. Герой «Крота истории» пытается обосновать претензии СССР на мировое господство идеей «Третьего Рима». Но автор издевается над его умозаключениями, показывая их ущербность и ограниченность. Крот истории слеп, никаких надежд, как то делали марксисты, возлагать на него нельзя, и задача мыслящего человека — следить за его работой, а не строить априорных концепций, тем более не впадать в панику по поводу якобы вечного режима Совдепии. Этот режим когда-то возник, имел свои периоды — значит, наступит и завершение. Конечно, перенести на китайскую почву это было бы весьма трудно. Помню, как он махнул рукой и сказал: «Отдам Димке Борисову. Пускай так идет. И будь что будет». В предисловии Виноградова к «Наследству» сказано, что «Крота истории» передал на Запад А. Зиновьев, как тот сам рассказывал. Но, не говоря уж о том, что роман попал в круги, далекие от контактов опального философа, надо просто восстановить историческую справедливость. Поэтому констатирую: Вадим Борисов переправил текст во Францию, где тот попал в нужное место в нужный час. В 1979 году книга вышла в Париже в издательстве YMKA-PRESS, была переведена на французский и итальянский. Пошли обыски, КГБ арестовал его пишущую машинку, требовал объяснить, что он хотел сказать своим романом. Володя отделивался ссылками на слова Наполеона, что необходимо изображать «трагедию политики». Вот он и изобразил. В органах были шутники: как-то Володю вызвали в его военкомат, расположенный так, что из окон его просматривался двор Лубянки. Вспомнив «Круг первый», он решил, что домой не вернется. Но на фоне окна, из которого виднелся двор для прогулки заключенных, полковник поздравил Кормера с присвоением очередного воинского звания. Это была творившаяся обществом фантазмагория, которую он очень точно чувствовал, изображая ее в «Кроте истории».

В отличие от Зиновьева, думавшего, что «зияющие высоты» — это состояние, к которому в конечном счете придет все человечество, что советский коммунизм — не только навсегда, но постепенно и везде, **в отличие от многих эмигрантов**, веривших в возможность возврата к дореволюционной России, **Кормер** был человеком, не испытывавшим иллюзий и обольщений. Возможно, даже наверняка, он тоже прошел через череду самообманов и надежд, но мы его узнали спокойным, ироничным, слегка циничным, **но не циником**. К проблемам жизни и бытия, даже к житейским проблемам он относился вполне серьезно, понимая, что жизнь человеческая, несмотря на безланных правителей, политико-идеологические принуждения, идет по своим жизненным

спокойным, ироничным, слегка циничным, **но не циником**. К проблемам жизни и бытия, даже к житейским проблемам он относился вполне серьезно, понимая, что жизнь человеческая, несмотря на бездарных правителей, политико-идеологические принуждения, идет по своим жизненным законам, и все равно бывает плохая или хорошая погода, люди любят, ревнуют, охладевают, им надо кормить семьи, что родители заслуживают почтения, а дети — внимания, и т.п. Его любимый рассказ — про то, как однажды прекрасным зимним днем он шел с друзьями кататься на лыжах и встретил **записного диссидента**, позднее в романе «Наследство» выведенного как Хазин. В роман этот эпизод не включен, поэтому позволю себе привести его. Увидев лыжников, которых он считал **своими людьми**, диссидент этот, облив своих друзей презрением, саркастически воскликнул: «Хорошо кататься на лыжах. Особенно в хорошую погоду. Особенно при советской власти!» Подобный фанатизм вызывал у Володи только ироническую усмешку. Вообще он никогда не растворялся в ситуации, умел посмотреть на нее со стороны.

Один мой близкий приятель, которому я как-то дал почитать кормеровскую прозу, спросил меня: «Как он может писать **такое**, работая в **идеологическом** журнале? Нет ли тут **двоемыслия**?» Но я уже говорил, что редакция воспринимала публикацию официозных статей как вынужденную обязанность, как своего рода маску, позволявшую скрывать истинную работу мысли. Впрочем, так жила почти вся советская интеллигенция, отнюдь не худшие ее представители. И это не было двоемыслием. Кесарю отдавалось кесарево, но Богу старались отдать Богово. Двоемыслие интеллигенции заключалось (об этом Кормер написал под псевдонимом *О. Алтаев* в «Вестнике РСХД» за 1970 год) во внутреннем комплексе неполноценности, недоверии к реальной жизни духа, в псевдокультуре, требующей ложных идолов, фантомов, могущих оправдать ее неподлинную жизнь, в непонимании сложности исторического процесса, а потому и в желании найти универсальную отмычку, которая сразу откроет дверь в «светлое будущее». Опыт большевизма показал Кормеру, что вопрос не решается прямым противостоянием режиму, ибо приводит к возрождению худших черт прежнего состояния дел: возвращается «кружковщина», а с ней и «бесовство». Двоемыслие возникает, когда «ищут **легкого** решения, <...> хотят уйти от сложности» [3], когда человек считает себя **обязанным** противостоять режиму, но не может, комплексует и рождает очередных духовных монстров — как антитезу власти. И он беспокоился, спрашивал себя: «Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет потешить Дьявола? <...> Будет ли это новый русский мессианизм, по типу национал-социалистического германского, восторжествует ли технократия или дано нам будет увидеть новую вспышку ортодоксального сталинского коммунизма?» [4] Вопрос, правда, в том, не было ли это подменой слов, когда в роли интеллигенции выступила та часть общества, которую Солженицын назвал «образованщиной»?

* * *

У Володи было много самых разных друзей — диссидентских, литературных, философских и пр. Круг приятелей-литераторов у него был велик. Как Высоцкий рвался в литературно-поэтический цех, так и Володя Кормер хотел попасть в этот же круг, чтоб его признали «настоящие» писатели, пусть и писатели андеграунда. Это не получалось, трудности возникали постоянно, хотя с ним охотно выпивали. Трудно признать в современнике и собутыльнике писателя большой русской классики. Еще одна сторона — это художники. Но о них особое слово. Перечислю просто несколько имен: Вадим Борисов, Евгений Барabanов, о. Александр Мень, Лев Турчинский, Мераб Мамардашвили, Юрий Сенокосов, Александр Величанский, Юрий Кублановский, много священников, среди них — о. Николай Ведерников, отпевавший Володю в Ивановской церкви. Но жизнь была сумасбродной, как и полагается в «случайном семействе». Болтали на кухнях, выпивали, попадали в странные истории. Порой чувствовали себя чужаками, инопланетянами, как дон Румата Эсторский (из романа Стругацких «Трудно быть богом», попавший в мир, где боятся и уничтожают книжников). Как уже было сказано, в «Преданиях» это было сформулировано вполне резко.

Об этом замечательно написал Мандельштам, словно про нас, про Кормера, как выходцев из иного мира: «Трагично бытие людей, желающих понимать». Реальность, утвердившаяся на почве бесчеловечного мифа, отрицавшего разум, была безусловно и категорически отвергнута Мандельштамом, искавшим опору именно в разуме, в рации. В статье «Девятнадцатый век» (1922) он сформулировал это: «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом, — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века,

он сформулировал это: «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом, — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк. <...> Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи, гигантский, неизвлекаемый корень из двух, подобно каменному храму чужого бога, отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум — *ratio* энциклопедистов — священный огонь Прометея» [5]. Поэт оказался прозорливее многих своих ученых современников, винивших во всех бедах нашей жизни рационализм западной теории.

Тут надо добавить, что женат был Володя на скульпторе Елене Мунц, от нее его круг друзей — художников и скульпторов. Хочу еще сказать, что Лена — основной автор памятника Мандельштаму в Москве, открытого в 2008 году. Приведу интернетную цитату: «8 ноября в Москве открыт памятник Осипу Мандельштаму. Его авторы — скульпторы Дмитрий Шаховской и Елена Мунц, а также архитектор Александр Бродский. Памятник установлен в центре города, в сквере на углу Старосадского переулка и улицы Забелина, рядом с домом, в котором жил брат поэта Александр. Здесь Мандельштам останавливался во время своих приездов в столицу».

А теперь снова к статье Мандельштама. Ее достоинств и недостатков обсуждать здесь не имеет смысла, ибо речь о другом. О том, что наша жизнь очень долго была построена на пафосе непонимания — запрете мысли, чтения и попыток самостоятельного размышления о судьбах мира. А Кормер именно это и умел делать — читать, думать и размышлять. Он и был выходцем из другого мира.

Не могу обойтись без анекдота из жизни. Как-то вечером он зашел ко мне, а на холодильнике лежала данная мне «на почитать» книжка Евг. Замятина, на обложке которой (крупными буквами) стояло: «Издательство политэмигрантов из СССР». Ничего страшного в этой книге не было (никакого романа «Мы»), просто сборник рассказов, вот разве обложка... Володя попросил почитать. Я возразил, зная его систему обхождения пяти домов друзей, расположенных поблизости, выпивания везде до последней минуты перед метро. «Ты напьешься, и тебя в метро заметут», — сказал я. «Ты же меня знаешь», — возразил Кормер. «Вот именно», — ответил я. Но книгу все же дал. Рано утром зазвонил телефон, я снял трубку и услышал слова Кормера: «Володька, все же Бог есть». Ошалело я спросил: «В каком смысле?» Рассказ был жутковато-комичный, но с хорошим концом. «Ты был прав, я поднапился, и меня, конечно, замели, завели в ментовскую комнату в метро. А книга у меня в кармане, думал в вагоне почитать. И тут лейтенант книгу-то из кармана вытаскивает, смотрит на обложку, потом на меня. Я трезвею, а он бледнеет. Соображаю, как бы половчее соврать, что на помойке ее нашел. А лейтенант вдруг говорит: “Как же вы такие книги читаете и так пьете?” И добавляет: “Я провожу вас по эскалатору до вагона, а вы уж постарайтесь доехать”. Вот и скажи мне, ты же тоже знаток человеческих душ, почему отпустил? К бабе ехал и не хотел дело затевать, из-за которого пришлось бы свиданку пропустить? Или эта так называемая вражда ментов и гебешников? Или — чего не бывает! — просто хороший человек?» Мы сошлись на том, что это был просто хороший человек, — так думая, жить легче.

Как я уже упоминал, он дружил не только с литераторами, много дружил с художниками и искусствоведами. Среди друзей, мне известных, — Андрей Красулин, Дмитрий Шаховской, Дмитрий Жилинский. Володя и сам неплохо рисовал, его рисунки украсили российское издание его книги «Крот истории», всегда выставлялись на вечерах его памяти. Он умел многое, но главным все же было писание романов. Кормер очень твердо стоял на своих ногах. Не только стоял, но смеялся над теми, которые хотели вместо своих ног стоять на революционно-диссидентских или партийных котурнах. Злобного узколобого фанатизма Володя не терпел, смеялся над ним, издевался, сказать точнее. Иронией пронизаны все его тексты, а саркастическая усмешка совсем не напоминает обычно описываемое благодушие его фотографии. Если по стилю и охвату письма я бы сравнил его с Чеховым и Буниным, то по ироничности, конечно, не со Свифтом или Салтыковым-Щедриным, а с Вольтером.

* * *

Конечно, его последние вещи — «Крот истории», «Человек плюс машина» и пьеса «Лифт» — не сатира, как их уже определяли, а иронические фантазмагии. Стоит хотя бы взглянуть на пьесу

Конечно, его последние вещи — «Крот истории», «Человек плюс машина» и пьеса «Лифт» — не сатира, как их уже определяли, а иронические фантазмагии. Стоит хотя бы взглянуть на пьесу. Она была опубликована, напомним, в журнале «Вопросы философии» в 2007 году в № 7. Всегда и обидно, и радостно, когда ты участвуешь в извлечении «из-под спуда, из-под глыб» замечательного текста и, наконец, в его публикации, — давно требовавшего своего обнародования, требовавшего самим своим существованием. Ибо текст «Лифта» — из тех произведений, что и за двадцать пять лет лежания в архиве остаются не просто актуальными, а будто вчера написанными. Разумеется, появление такого текста требовало бы достаточной торжественности, да и журнал должен бы был быть если и не театральным, то хотя бы литературно-художественным. Обидно, что этого не произошло, но радостно, что у друзей и поклонников покойного писателя есть возможность сохранить текст не только в письменном столе, но и на страницах печатного издания, а стало быть, и в сознании нескольких тысяч читателей нашего журнала. В том большом времени, о котором писал когда-то Михаил Бахтин (и в котором он остался сам), честное и талантливое слово останется — независимо от того ранга, который присвоят ему потомки.

Часто повторяемы строки Ахматовой:

Мне ни к чему одические рати

И прелесть эгегических затей.

По мне, в стихах все быть должно некстати,

Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

21 января 1940

Я бы попробовал немного применить их к творчеству Кормера, а еще точнее — к его пьесе. В этой пьесе все некстати, так не бывает, нелепость наваливается на нелепость, не так, как у людей, и вместе с тем абсолютно так же, но как-то иначе: застрявшие в лифте люди вдруг оказываются в совершенно «пограничной ситуации», «обнажаются и заголяются», как в рассказе Достоевского «Бобок», а при этом самые бытовые персонажи становятся демонами, старушка — феей и т.п. Речь идет о том, как банальная бытовая ситуация, в которой оказался художник (пережил ее вместе с другими или услышал о ней), в процессе творчества вдруг преображается в художественное событие, в символ человеческой судьбы, можно даже сказать, в символ культуры. Возникшая среди застрявших в лифте ссора была и стыдной, и грязноватой, испуг — несимпатичным.

Что из этого могло получиться? Бытовой случай, ставший сюжетом, и в самом деле был вполне банален. Сотрудники нашей редакции в 1979 году ехали на день рождения к своему другу, уже ушедшему из журнала и работавшему в издательстве — каком, это отчасти важно: том самом, где через семнадцать лет выйдет последняя на данный момент Володина книга. Именинник ждал своих друзей из журнала, а пока пировал с другими гостями — по школе, университету, другим работам. Себя Кормер в этой пьесе не вывел, хотя в лифте и он сидел — шестым, а не пятым. Но это ведь не бытовая зарисовка, а символически-социальная структура общества (работа у Левады сказалась?). Поразительно одно, что хочу здесь заметить: журнал оказался чем-то вроде такой социальной единицы, пройдя которую, люди сохранили дружбу на десятилетия, чувствуя себя (может, я романтически немного преувеличиваю) чем-то вроде ремарковских «трех товарищей» или героев мушкетерского братства. Но внутри этой социальной единицы были и свои проблемы. И они вполне обозначены в этой символической пьесе.

Вечный замах на правдоискательство, который иронически выведен (в образе Турусова), хотя не

Вечный замах на правдоискательство, который иронически выведен (в образе Турусова), хотя не было уже веры, что оно возможно внутри этой системы, поиск стукача в своих рядах, поскольку ячейки советского общества были устроены так, что без этого персонажа трудно было вообразить нашу жизнь. А главное — это **зависание** кабины с людьми над пропастью лифтовой шахты. Кормер очень любил тему научно-технической революции в России, об этом его роман «Человек плюс машина». Всё — как будто, как и на Западе, но регулярно зависаем над пропастью. И тут выясняется, что никто совладать с этим зависанием не в состоянии: ни техническая обслуга, ни идеологи, ни сами герои пьесы, неожиданно оказавшиеся в **пограничной ситуации** — не благодаря личному выбору, а **потому что так случилось**. Разница, скажем, с Камю принципиальная. Там герой сам выбирает свою подвешенность над пропастью (чума — это пропасть, над которой висит любой человек). Более того, в борьбе с чумой он реализует свою возможность остаться человеком. У Камю все действие еще происходит под бесконечным небом, откуда на страсти персонажей взирают «небожители». Как у Тютчева: «Пускай олимпийцы завистливым оком / Глядят на борьбу непокорных сердец». В пьесе Кормера борьбы нет. Герои ссорятся, совокупляются, выясняют, кто стукач, а сверху спускаются не небожители, а Именинник и его гости. Все слои общества дефилируют перед застрявшими в лифте персонажами пьесы, но никто не желает войти в трагическую суть ситуации, высказываясь в связи с событием о своих проблемах, но оставаясь предельно равнодушным к судьбе героев.

Когда-то в 60-е годы вся советская интеллигенция зачитывалась романом Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» в переводе Риты Райт-Ковалевой. Там милый мальчик Холден Колфилд мечтал ловить заблудившихся детей «над пропастью во ржи», чтобы спасти их от страшного падения. Это было очень созвучно миропониманию приличной советской интеллигенции. А тема бездны, пропасти со времен Пушкина и Тютчева всегда влекла русское сознание, наполняя нас всех ужасом и желанием противостояния. Но ни ужаса (испуг героев Кормера совсем не тянет на *Angst* Хайдеггера), ни тем более противостояния в «Лифте» мы не видим. И это, быть может, самая страшная правда о том времени и нашей культуре, в которой мы продолжаем пребывать. Единственный шанс писатель увидел в Доброй Фее, которая со времен «Золушки» великого фильма самых крутых сталинских времен с Гариным, Раневской и Жеймо сохраняла нам веру в возможность **чуда**, потому что другого выхода не находилось.

Интересно, что, когда в 1997 году вышла его книга [6] (включившая две статьи Володи и его «Крота истории») в издательстве у нашего друга Бориса Васильевича Орешина, ее презентация должна была состояться в Институте философии РАН. И вот уже собрались приглашенные гости в торжественную залу, в соседнем секторе уже был накрыт стол, институтское начальство поглядывало на часы: опоздание директора издательства и коробок с книгами явно превышало все нормы приличия. Нервничала Лена Мунц, ожидая книгу мужа. И вдруг прибежали служители («униформисты», как в пьесе) с криками: «Сидят! Сидят! Уже давно сидят! Пятнадцать минут как лифт застрял! Аварийку вызвали, скоро приедет!» Прошло еще минут двадцать, и явились помятые, слегка подвыпившие директор издательства Б.В. Орешин, главный редактор издательства Е.Д. Горжевская, редактор книги Э.Я. Логвинская и художник книги Таня Кормер, дочь писателя. Орешин всплеснул руками, входя в залу, со смехом говоря: «Без мистики не обошлось. Почти все по кормеровскому “Лифту”. И пять человек набилось, и с собой было! Мудрагей, вы там так же выпивали?» Начался смех, словно вернулся карнавальным настрой старого журнала, и еще один из бывших журнальных друзей А.Е. Разумов хмыкнул: «Кажется, у вас сейчас поболее было, чем у нас тогда». И вечер начался, как он и должен был начаться в честь этого автора, — свободно, раскованно, иронически.

В общем-то Ахматова была права: поэзия растет из сора, но только в том случае, когда к этому сору прикасается художник.

* * *

Ортодоксы разных мастей считали, что у Кормера **нет ничего святого**. Если правоверные диссиденты негодующе недоумевали, как смеет он работать в философском, **почти идеологическом** издании, то фанаты журнала подозрительно замечали, что этот редактор **не отдает себя журналу, не служит ему**, что наверняка у него **есть что-то свое**. А иметь свое, личное

идеологическом издании, то фанаты журнала подозрительно замечали, что этот редактор **не отдает себя журналу, не служит ему**, что наверняка у него **есть что-то свое**. А иметь свое, личное казалось почти предательством. Для Кормера многое было важным в жизни, даже святым (например, желание абсолютной независимости мысли, умение слушать Другого), но для него действительно ни одно понятие не имело сакрально-торжественного наполнения. Сакральность мест, понятий, явлений, традиционную российскую **идею служения** он высмеивал и презирал. Будучи едва ли не лучшим и высокопрофессиональным работником журнала, он не считал редакторскую деятельность смыслом своей жизни. Хотя он был человеком дела и умел любую работу делать хорошо.

Его ироническое отношение и к советской действительности, и к борцам с нею объяснялось, я думаю, его глубоким пониманием, а может, просто ощущением явного распада режима и системы. Этот распад, названный перестройкой, он уже не застал, но партийные идеологи, ставшие главными обличителями идей марксизма и коммунизма, а также пропагандистами православия, невольно вызывают в памяти кормеровскую «мефистофельскую усмешку». Он действительно был дьявольски умен и прозвище «местный Воланд» носил не зря. Относиться к режиму всерьез мы уже не могли и не хотели. Более того, нормальная (то есть трудная, тяжелая, всякая) человеческая жизнь казалась более важным предметом для размышления и изображения, нежели власть имущие и их приспешники (разве что на факультативных правах). В равнодушии нашего круга к режиму, мне кажется, решающую роль сыграл Кормер, его проза. Он был исследователем жизни, а потому по сути своей — вне всяких партий.

Для него, несмотря на иронию его текстов, литература была делом серьезным, концептуализм и постмодернизм он называл «нелетающим самолетом», «самолетом, нарисованным на картинке». Серьезным и важным были отношения **дружеские**. Он не превращал свою жизнь в шоу, чтобы добиться славы и успеха **здесь и там**, а **там** еще и денег. Хотя мог бы. Особенно после премии Даля и выхода «Крота истории» сразу на трех языках — русском, французском и итальянском. Все мы помним, с каким шумом (когда после высылки Бродского и Солженицына стало ясно, что власть уже **не сажает, а отправляет на Запад**) творили себе паблисити иные писатели-диссиденты, собирая вокруг себя инкоров, устраивая идеологические скандалы, чтобы вызвать критический обвал в советской печати, тем самым создавая себе **имена борцов с режимом** и наворачивая горы вранья о своем геройстве. А самое главное — **подставляя** под удар карательных органов своих коллег (которых не могла защитить западная **гласность**), вынуждая их либо лишаться работы, либо совершать поступок, постыдный, хотя и известный со времен апостола Петра, именуемый **отречение**, что было уже несовместимо с их человеческим, личностным пониманием себя. Ригорист и фанатик в таких случаях мог бы сказать (да и говорили!), что тут де и происходит подлинная проверка на **человеческую порядочность**. Если ты честный человек — жертвуй собой! Проверка и впрямь происходила. Но другого рода. Выяснялось, кто же мог отвечать сам за себя, не жертвуя ради своего престижа друзьями. Кто мог сам нести свою ношу. Кормер мог.

Владимир Кормер не любил политиканства, не принимал его. У него были другие ценности, которые можно было бы определить такими словами: достоинство, самоуважение и порядочность. Он сам выбрал свой путь и не хотел, чтобы другие оказались вынуждены разделять взятую им на себя ответственность. Он просто подал заявление об уходе, когда узнал о присуждении роману премии Даля. Не объясняя, **куда** он уходит. Журнал «Вопросы философии», надо сказать, мог послужить трамплином для другой престижной работы. И тут были юмористические казусы. Что-то интуитивно чувствовавший и потому заушавший Кормера главный редактор (В.С. Семенов) вдруг потерял бдительность, почему-то решил, что Володя **идет на повышение**, а потому и молчит о месте будущей работы, стал даже шутить: мол, наши сотрудники вливаются в высшие инстанции, важно добавляя по-английски: «*Penetration*, так сказать». А Кормер уходил в **никуда**. Лишь тогдашний ответственный секретарь (Л.И. Греков) сохранял недоверие и продолжал даже напоследок придирается к Володе по мелочам, нарвавшись в результате **на месть писателя**, попав как сатирический персонаж (Сорокаксидис) в роман «Человек плюс машина».

Перед его смертью, склонившись у его постели, одна из наших приятельниц спросила умирающего: «Володька, а скажи, чего бы ты хотел сейчас больше всего на свете?» Он даже глаза закрыл. Но ответил: «А ты как думаешь? Любой писатель мечтает, чтобы его тексты были

умирающего: «Володька, а скажи, чего бы ты хотел сейчас больше всего на свете?» Он даже глаза закрыл. Но ответил: «А ты как думаешь? Любой писатель мечтает, чтобы его тексты были опубликованы — и неискаженно». В эти дни прошел слух о выходе в «Посеве» урезанного на треть «Наследства». И это мучило автора.

В 1997 году журнал «Вопросы философии» в № 8 с моим предисловием опубликовал треть романа «Человек плюс машина». Надо сказать, с этим номером я обошел все московские журналы. Но получил везде вежливые отказы. Тогда с согласия главного редактора нашего журнала В.А. Лекторского, полного (извините за некую высокопарность, но правдивую) благородной решимости, роман в № 12 1998 года был опубликован до конца с пояснением.

«От редакции. Публикуя в прошлом году («Вопросы философии», № 8, с. 77–111) треть романа Владимира Кормера, мы писали: «К сожалению, объем нашего журнала не позволяет опубликовать роман “Человек плюс машина” целиком. И вместе с тем мы идем на публикацию части романа по нескольким причинам. Во-первых, действительно философская проза (при том высокохудожественная) никогда не была противопоказана философскому журналу. Во-вторых, темы, поднятые в романе: технократических иллюзий интеллигенции, жизнь российско-советского научного сообщества, проблемы НТР, — всегда живо обсуждались на наших страницах. В-третьих, и было бы лицемерием это скрывать, Владимир Федорович Кормер как наш друг, многолетний сотрудник и автор журнала имеет право на исключение из общего правила — на публикацию своей прозы на страницах научно-философского издания. И в-четвертых, мы рассчитываем этой публикацией привлечь внимание к его творчеству незаангажированных литературных журналов» (Там же. С. 76).

Прошло больше года. Мы предлагали рукопись (еще раз! спустя десять лет после смерти В.Ф. Кормера) в разные “толстые” литературно-художественные журналы, надеясь, что время прояснит ценность подлинных текстов. Естественно, мы начали с “Октября”, все же на волне энтузиазма опубликовавшего “Наследство”. К сожалению, там ответ был такой же, как и в других журналах: мол, вроде бы и все интересно, но необходим литературно-информационный повод для публикации романа, написанного в 1977 году. С жестким и безапелляционным резюме: печатать Кормера сейчас абсолютно бессмысленно. Но грех философам быть заложниками сиюминутности. Значительность содержания ведь меряется отнюдь не критериями моды или злободневности, **важнее всего понимать относительность сегодняшней актуальности.**

На наш взгляд, поводом для публикации хорошего текста может быть только сам этот текст. Как когда-то говорил Герцен, пока рукописи не пропали, их нужно предать печатному станку. Надо ли считать, сколько выдающихся памятников русской культуры он спас от забвения, сделав достоянием пусть узкого, но читающего круга российской публики. Надежда на тиранов, прозвучавшая в известной фразе о том, что “рукописи не горят”, может обольщать журналистское сознание, но отнюдь не философское, работающее с понятием вечности. Даже в метафизическом плане эта фраза говорит только о том, что все мы читаемы Богом. Не более того. Это вовсе не значит, что в земной жизни рукопись не может пропасть. Еще как может! В реальной действительности, не будь у “Мастера” его “Маргариты” и поклонников его таланта, пробивавших рукопись в печать, мы никогда не познакомились бы с романом о Воланде.

Мы вынуждены довершить начатое нами дело, понимая, что время (**которое в высшем плане, разумеется, соприкасается с вечностью**) проходит и рукопись может пропасть. Поэтому мы публикуем последние две трети романа Владимира Кормера, напоминая нашему читателю, что начало этого текста он может найти в годовой подшивке журнала за прошлый год. В заключение хотим сообщить, что в январе следующего, 1999 года Владимиру Федоровичу Кормеру исполнилось бы 60 лет».

* * *

Теперь необходимо все же сказать о главном романе писателя, на этом и завершив вводную статью к его двухтомнику. Законченный в 1975 году крамольный роман был напечатан, как я уже писал, лишь в 1990 году. Публиковались, казалось бы, более острые произведения: мемуары, романы, исследования, рассказы о страшных сталинских лагерях, о преступлениях, с которых началась

лишь в 1990 году. Публиковались, казалось бы, более острые произведения: мемуары, романы, исследования, рассказы о страшных сталинских лагерях, о преступлениях, с которых началась «новая эра», о хрущевских «островах коммунизма»... Роман Кормера оставался «непроходимым» ни здесь, ни там. На Западе друзьям писателя удалось опубликовать роман, но — сокращенным более чем на треть. Писателя хотели определить, на чьей он стороне, и, не определив, — отвергали. А он был сам по себе. Роман вроде бы о диссидентах, но не диссидентский и не антидиссидентский. Между тем всякое новое слово вторгается в литературу как бы со стороны, влияя по-своему на культуру, усложняя ее умственный и духовный строй. Думаю, что роман «Наследство» из таких, из «влияющих».

Владимир Кормер не дожил трех месяцев до своего сорокавосемилетия и четырех лет до публикации полного текста романа. Открыть его творчество читателю еще предстоит. Но могу уже сейчас сказать, что такого объективного, бестенденциозного, аналитического подхода к действительности мы не видели, мне кажется, со времен Чехова, самого беспартийного из русских писателей. Я сознательно упомянул тот тип письма, с которым имеет смысл сопоставлять прозу В. Кормера. Художественный пафос его романа напоминает пафос естествоиспытателя: «я наблюдаю, потому что хочу понять...». Задача его творчества, как я ее понимаю, весьма серьезна и ответственна: перед нами попытка художественного анализа метафизики отечественной культуры.

Само заглавие романа символично. Позволю себе параллель. В 1897 году была опубликована работа «От какого наследства мы отказываемся?». Ее автор полагал, что можно отказаться от одной части культуры и взять «на вооружение» другую. Но презрительно отринутый путь революционного народничества (в пределе — нечаевский) оказался в дальнейшем доминирующим. Как показала история, наследуемый тип культуры нерасчленим — и в плохом, и в хорошем. Да и вообще нельзя ничего отвергнуть: в превращенном виде все явления истории и культуры продолжают жить, перетекая из прошлого в настоящее. От культуры нельзя отказаться, ее можно гуманизировать. Но для этого ее необходимо понимать, прежде чем предлагать «рецепты спасения».

Кормер хотел разобраться во взаимосвязи, взаимозависимости «грехов» и «правд» нашего прошлого и настоящего. Один из персонажей «Наследства», писатель Николай Вирхов, сочиняющий роман о русской эмиграции конца 20-х годов и одновременно пытающийся записывать все, что видит вокруг себя (образ в значительной степени автобиографический), вдруг обнаруживает: «Он не присочинял, не строил никаких концепций, он просто дорисовывал то, что было уже известно, и лишь старался узнать этих людей поосновательнее, чтобы дорисовывать вернее. Более того, он желал бы совсем уйти от этой темы (т.е. современной. — В.К.), для того и занялся “исторической” линией. <...> Как это так получилось, что его история вдруг ожила, из плоской, записанной на клочках бумаги, претворилась в плоть и кровь, обернулась зверем?! Мертвые стали хватать живых. Самый малый шаг вглубь времен мгновенным ударом отдавался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каждый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи, и все судьбы и все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то за что-то наследство. Никто не существовал сам по себе, вне другого».

Писатель осознает, что архетип культуры сильнее любого человека, что, думая, что поступают свободно, его герои ведут себя, как марионетки на ниточках, и направляет их движение нечто, что определяло и жизнь их предков, неизжитые проблемы которых оказались актуальными и сегодня: «мертвые стали хватать живых». И два романа, которые пишет Вирхов, сливаются в один, обретающий единство проблематики и сюжета. Героиня «современного романа» Татьяна Манн оказывается незаконной дочерью героя «эмигрантских глав» Дмитрия Николаевича Муравьева, профессора, ученого, богатого и независимого человека, за которым «не стоят никакие круги». Деньги Муравьева, за которыми охотилось ЧК, всплывают в советской уже современности начала 70-х как некий фантом: «наследство в твердой валюте». И вот уже бес, искушавший когда-то паразитарную сталинскую структуру, начинает смущать Валерия Александровича Мелика, одного из «сегодняшних» героев, «верующего христианина», пытающегося добиться рукоположения, но одновременно воспринимающего свое христианство как политическое дело, желающего выглядеть лидером христианской антисоветской партии. И уже непонятно, в самом ли деле герой сызнова воспылал страстью к своей бывшей возлюбленной Тане Манн или новую силу его чувствам придает вроде бы ожидающее ее наследство. Все зыбко, все двойится в этом не желающем

лидером христианской антисоветской партии. и уже непонятно, в самом ли деле герои сызнова воспылали страстью к своей бывшей возлюбленной Тане Манн или новую силу его чувствам придает вроде бы ожидающее ее наследство. Все зыбко, все двойится в этом не желающем осознавать себя и свое прошлое мире. Каверза романа в том, что денег-то, может, и нет вовсе, а наследство — есть. Оно — реальность, рок, проклятие. Герои наследуют не только нерешенные проблемы, но сам тип мышления и отношения к жизни.

Чрезвычайно важны для понимания замысла романа те духовные коллизии первой русской эмиграции, в которых пытается разобраться Вирхов, — с их сведением старых счетов, взаимными упреками, желанием не понять смысл произошедшего на Родине, а придумать «рецепт спасения». Партийные склоки противостоящих друг другу эмигрантских группировок, растущий немецкий национализм, подогреваемый сталинскими эмиссарами, разговоры о «Великой Германии» и «Великой России», провокации агентов ЧК, играющих на евразийских идеях патриотизма, раздувающих вражду между группками, — все это в ином вроде бы обличье неожиданно узнается нами во взаимоотношениях героев «современного романа». Ибо современные герои тоже имеют «благие намерения», но ведут они их, как и их предшественников, как пятьдесят, как сто лет назад, напрямик в ад. Но кто же эти современные герои?

В поисках свободы, живой жизни, противостоящей официозу, все мы в той или иной степени симпатизировали диссидентству, среди которого были подлинные герои и святые — напомним хотя бы Андрея Дмитриевича Сахарова. Впрочем, как в XIX веке сочувствовали революционерам-народникам весьма широкие слои русской интеллигенции, сами не ввязываясь в борьбу. Именно сюда, в диссидентские круги, следом за писателем Николаем Вирховым попадает читатель. Но для писателя Владимира Кормера изображение диссидентского движения — не цель романа. Просто через этот материал, как через увеличительное стекло, писатель пытался понять судьбу России. Будут, наверное, спрашивать, верно или неверно он «списал портреты». Но писатель не «списывал портреты», он при помощи своих героев говорит о сущности времени, культуры и т.д. А диссидентство было той самой болевой точкой, к которой сходились все нервные нити культурного организма России. И выяснилось, что у борцов те же беды и проблемы, что и у законопослушных граждан нашего государства: единое наследие — несвободы и неприятия независимой личности.

В доме Ольги Веселовой собиралась компания. Это были бывшие лагерники, прошедшие сталинские тюрьмы и ссылки, и молодые женщины и мужчины, считавшие бывших лагерников героями, людьми, «понимающими, как надо жить». Возникает замкнутая система, отгораживающаяся от остального, «неправедного» мира. Образуется своеобразная община. А у замкнутой группы, общины, роя, стаи — свои законы. Законы, отвергающие самобытность, индивидуальность, непохожесть. Как сформулировал в 1870 году в издании «Народная расправа» Сергей Нечаев, «одним словом, не примкнувшая без уважительных причин к артели личность остается без средств к существованию» [7]. Но тоталитарное государство основано на том же принципе. И оппозиция отзеркаливает его структуру. Так что оказывается, что можно не служить, не делать карьеру, не вступать и не участвовать, более того, протестовать и подписывать, но... чураться, отталкивать тех, кто пытается думать своим умом, а не умом компании, умом кружка. Если вспомнить, то об опасности и ужасе кружковщины, перерастающей в бесовщину, предупреждали два наиболее чутких к общественным движениям писателя — Достоевский и Тургенев («Бесы» и «Новь»). Наше наследие — кружковщина, но наше же наследие — и противостояние ей. Кормер — наследник этой линии противостояния.

Неужели опять кружковщина, опять новая партийность?.. Да, первое и самое острое впечатление читателя именно такое, и оно не обманывает. Познакомившись в самых первых главах с Таней Манн, убедившись в ее неординарности, читатель с удивлением видит, что отвергающая систему, из семьи «сидевших», верующая искренне и истово, она, принимая всем своим существом вчерашних страдальцев, оказалась отторгнутой. «К ней вообще относились здесь отчужденно, и сблизиться с ними по-настоящему она не смогла. Она не знала причины, потому что делала вроде бы то же, что и они, — так же пила, так же читала стихи и писала экзистенциальные романы-монологи, которые Ольга одобряла, отводя ей роль “нашей Саган”». Но все они, однако, в чем-то не доверяли ей, и, хоть и думали о себе как об элите, ей самой, опростившись и зная жизнь, не упустили случая сказать “белая кость” и тому подобное».

упускали случая сказать “белая кость” и тому подобное».

Она, как замечает писатель, причины такого отношения к себе не понимала, но догадывается читатель: в ней слишком ощущалось свое, ни от кого не зависящее понимание жизни. При этом люди эти не злы, намерения их благородны. Кормер не шаржирует своих героев, просто сама жизнь, сам тип поведения — кружковщина — структурирует их поведение. Они сами оказались в плену законов, которые им диктовала наша жизнь.

Отсюда и моральный диктат, ригоризм, наплевательство на личность, что мало отличалось от привычного законопослушным гражданам диктата партийной или комсомольской организации: «Меня хотят заставить делать то, чего я не хочу!.. Почему если кто-то думает иначе, чем они, то это уже подлость, это приспособленчество?! Это трусость? Я хочу быть человеком со своим мнением и жить, как я хочу, а не как они хотят... А то, как они говорили?.. Нас, видите ли, не интересует, почему ты подписываешь и о чем ты при этом думаешь! Подписывая, ты становишься просто социальной единицей и в качестве таковой только и имеешь значение... Сволочи!» Таким образом, мы получаем зеркальное отражение государства, хоть и с обратным знаком, тот же тоталитарный синдром. И к читателю приходит понимание, что мы традиционно не можем осознать самооценности другого, личности. Ибо (вспомним слова поэта) «какие мы сны получили в наследство»? Да такие, по которым до сих пор живем. Нам не частное, нам «общее дело» подавай. Не случайно всплывает тень Достоевского, и мы слышим восклицание: «Бесовщина!» А кто из нас не переживал в той или иной степени диктата или остракизма того или иного кружка!

А где кружковщина, там непременно и претендент на роль лидера, фюрера, пахана, вождя. Здесь это «обрученный со свободой» Хазин, который орет, обращаясь к человеку, пристроившему его на работу: «Ты понимаешь, б..., что я идеолог русского демократического движения, или нет?! Ты понимаешь, что я за вас всех кладу голову?!» В свое время против подобного революционерства предупреждали «Вехи», говоря о том, что истинная революция — научиться жить и работать культурно, по-европейски, не лозунги выкрикивать, а уметь трудиться. Характерна, кстати, фамилия — Хазин: здесь и «хаза», бандитский притон, и «Разин», символ разгула, вольницы. Замечателен ответ Хазину экономиста Целлариуса, «стихийного» веховца: «Двести миллионов хочет осчастливить, говно. А одному человеку можно за это на голову ...»

Этот же экономист Целлариус говорит о том, что у каждого человека должна быть своя «средняя цена» и что вот «он не знает, как у других, но у него она останется прежней при любом режиме». Речь идет, разумеется, о наличии реальных знаний, профессиональных навыков, умения работать: это и есть средняя цена. И справедливость его слов герои очень даже чувствуют. Мелик изливается Вирхову: «Все как в вату... Все гложет, любое усилие... Я не могу, так нельзя жить. Надо уезжать отсюда... А что дальше?! Там-то мы тоже никому не нужны! Слыхал, как Целлариус сказал вчера? — спросил Мелик. — “Средняя цена, средняя цена!” Это точно, между прочим. У него есть она, а у нас ее нету». Отсутствие этой средней цены приводит Хазина к слову и покаянию в КГБ, а Мелика — к трактату об оправдании Иуды. В пьяном бреду Мелику кажется, что он подписывает «сатанинский договор». Ему нечего противопоставить миру сему. Даже христианство. И стоит посмотреть, каково оно — «в исполнении» героев романа.

Ибо именно в их время готовилось общественное сознание к сегодняшнему «всеобщему интересу» к христианству, принявшему почти что характер государственной службы. Но вот беда: в этом интересе, который виден во всех телепередачах и газетах, можно углядеть желание морального воспитания, соображения просветительские, государственные, которые влекут за собой карьерные, даже полицейские и военные (институт полковых священников). Не видно одного: религиозности. И здесь «левые» не очень-то отличаются от «правых». Как в диалоге героев Достоевского: «Я верую в Россию, я верую в ее православие...» «А в Бога? В Бога?» «Я... я буду веровать в Бога». Героиня романа «Наследство» робко произносит: «Сейчас, кого ни спроси, обязательно будет богослов или специалист по делам Русской Церкви. Этого всегда так ждали, на это так надеялись, и вот сейчас, когда это происходит, видно, как это ужасно! Это так быстро стало модой, стало так доступно... как бы уже и неприлично: интеллигентный человек и не... Конечно, грех так говорить, но ведь это так?» Писатель угадал тенденцию, которая в наши дни из моды стала уже поветрием: вчерашние марксисты и истовые члены партии наперегонки бросились креститься, гордиться православным прошлым и цитировать религиозных русских мыслителей.

грок так говорить, но ведь это так? — театраль угадал тенденцию, которая в наши дни по моде стала уже поветрием: вчерашние марксисты и истовые члены партии наперегонки бросились креститься, гордиться православным прошлым и цитировать религиозных русских мыслителей. Ну, а в романе? Мечется Мелик, пытаюсь через рукоположение устроиться в жизни, составив себе из религиозности политический капитал. Набивает свою утробу апеллирующий к «почве» отец Алексей. Занимается культуртрегерством отец Владимир, видящий в христианстве терапевтическое средство лечения человечества. Один отец Иван Кузнецов, герой «эмигрантских глав», — пробравшийся с Запада в сталинскую Россию служитель Катакомбной церкви — безусловно верит в Бога. Но он и не по моде, он герой противостояния, крест несет, он одинок.

Про Кормера уже говорят, что он религиозный писатель, автор религиозного романа. Думаю, это не так. Если и религиозный, то скептик, наподобие Вольтера, о котором Белинский замечал, что нормы христианства у него в крови. Как писал Чаадаев, «последствия христианства можно не признавать только в России. На Западе — все-христиане, не подозревая этого, и никто не ощущает отсутствия христианской идеи» [8]. Обезбоженный мир, где даже носители веры тщеславны и суетны, больше думают о своем преуспевании в разных областях жизни, нежели о духовном, нуждается в дьяволе, и он не замедлит явиться — в том или ином обличьи. Кормер написал роман с точки зрения человека, воспитанного тысячелетней христианской культурой, которому поэтому не надо истово креститься на красный угол, где чехарда: то портрет Ленина, то икона. Особенно его правота стала ясна, когда церкви стали заполнять гебешники и бандиты в пуленепробиваемых крестах.

В ранних редакциях романа был эпиграф: «Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: “Благословен Грядый во имя Господне!”» (Матф. 23, 38–39). Воскликнуть этого никто из героев не сумел. Дом наш остается пуст. И вечная справедливость пасхального воскресенья, которым заканчивается роман, воскресенья, вознесшего Христа на небеса, нисколько не исключает шутовского хоровода и шабаша на Земле. И под прикрытием Пасхи Хазин говорит о необходимости контакта с КГБ («Они не так глупы»); в алтаре героям чудится Мелик, недавно подписавший «договор с дьяволом»; заезжий иностранец собирается оформить брак с Таней, чтоб она могла выехать за наследством, и т.п. Вот такое жестокое знание о мире предлагает нам писатель.

И хотя оно тяжело, болезненно, трагично, оно необходимо. Все «лжи» и «правды» нашего прошлого мы несем в себе. Духовно независимый человек должен их видеть и понимать, чтобы противостоять роевому, антиличностному сознанию. Русская классическая литература помимо жестокого и неприкрашенного изображения действительности оставила нам в наследство идею свободы. Но принять это наследство может только человек, преодолевший в себе раба. Кормер, на мой взгляд, следует в своем творчестве лучшим традициям, ибо глядит на мир глазами свободного человека. Что же в романе противостоит нашей чудовищной, запутавшейся в идеологических догмах реальности? Да сам роман, его свободное, не замутненное никаким идолопоклонством слово. Продолжая игру с понятием, вынесенным в заглавие романа, хочу сказать, что писатель Владимир Кормер оставил нам наследство, от которого мы станем богаче, если сумеем его освоить.

Перед смертью, наслушавшись моих новых трактовок личности Чернышевского, он уговорил меня писать совместно сценарий о Чернышевском, решив таким образом вернуться в так называемый литературный процесс, да и заработать на жизнь. Но написать нам удалось только первую часть.

* * *

Владимир Федорович Кормер скончался от рака 23 ноября 1986 года. Болел он долго, больше года. Но держался поразительно мужественно и просто. Приходившим к нему друзьям о своей болезни не рассказывал, зато с искренним интересом расспрашивал об их делах. Затем он перенес тяжелейшую операцию (ему удалили почку). Я был у него в реанимационной палате, и между нами состоялся странный разговор. Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, осмеливаюсь записать его.

«— Никому не рассказывал. Тебе скажу. Ты же тоже человек пишущий. Должен понять. Я на том свете побывал, — и лицо его было чрезвычайно серьезным.

«— Никому не рассказывал. Тебе скажу. Ты же тоже человек пишущий. Должен понять. Я **на том свете** побывал, — и лицо его было чрезвычайно серьезным.

Я неловко спросил:

— В каком смысле — **на том свете**?

— В прямом, — ответил он.

— И что?

— Меня **там** упрекнули. Мало работал. Если б мог, теперь жил бы по-другому».

Ему было сорок семь лет, когда он умер. Написал он и в самом деле не очень много. И все же не объемом написанного измеряется значимость писателя. Сама позиция его, художественная, философская, человеческая, была столь значительна, что и поныне остается актуальной и нуждается в осмыслении и закреплении. И вот, наконец, перед нами самое полное собрание написанного им.

Безвременья не бывает. Бывают люди сдавшиеся и люди выстоявшие, сохранившие верность себе и своему творчеству. Владимир Кормер был таким выстоявшим. Россия, даже превращенная в «случайное семейство», все же имела своих героев. Одним из таких Героев, бесспорно, был великий русский писатель Владимир Федорович Кормер.

Примечания

1. *Виноградов И. О В.Ф. Кормере и его романе «Наследство» // Кормер В. Наследство. М.: Советский писатель, 1991. С. 3.*
2. Русская мысль. 1988. 27 мая. № 3726. С. 7.
3. *Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. М.: Традиция, 1997. С. 241.*
4. Там же. С. 243.
5. *Мандельштам О. Собр. соч. в 4 т. Т. М.: Арт-бизнес-центр, 1993. С. 271.*
6. *Кормер В. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. М.: Традиция, 1997. В книгу вошли две статьи писателя и его роман «Крот истории, или Революция в республике S=F».*
7. *Нечаев С.Г. Главные основы будущего строя // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997. С. 264. (Документальная публикация под редакцией Е.Л. Рудникцкой.)*
8. *Чаадаев П.Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 280.*